
pocket**book**

rocket**book**

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

Не отрекаются любя



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Т92

Оформление серии *А. Саукова*

Фото на обложке из семейного архива *В. Тушновой*

Тушнова, Вероника Михайловна.
Т92 Не отрекаются любя / Вероника Тушнова. —
Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с.

ISBN 978-5-699-90431-0

Вероника Тушнова (1915—1965) — известная поэтесса, участница Великой Отечественной войны, создавшая известные всем и любимые многими стихотворения «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!» и многие другие. Поэзия Вероники Тушновой проникнута добром и теплотой, искренностью, неподдельностью чувств, благодарной любовью ко всему, что даровано судьбою. Ее поэзия мудра, светла и чиста, и это навсегда покорило читателей и слушателей песен, написанных на стихи поэта.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-699-90431-0

© Розинская Н. Ю., 2016
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2016

**ИЗ ЦИКЛА
«СТИХИ О ДОЧЕРИ»**

Наташе

I

Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,
на столе — цветы.
Думала о сыне я,
а родилась — ты.

Ты прости, непрошенный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.

Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые —
маме все равно.

.....
Утро твое первое
смотрится в окно.

II

Мне с каждым днем милее ты:
все тверже взгляд, все звонче лепет.
Как будто новые черты
рука невидимая лепит.

Ночник... И тени на стене...
Мне часто по ночам не спится,
вот шевельнулись в полусне
твои спокойные ресницы.

Ты просыпаешься. И где б
я ни была, зовешь в испуге.
И пух волос твоих нелеп,
как у нахохленной пичуги.

И так похожи на цветы
румянец щек, и мягкость лапок,
и пухлость губ, и милый запах
ребячьей сонной теплоты.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребячья память.

И, милой резвости полна, —
как знать ребенку тяжесть ноши?
Ты слово новое — «война» —
лепечешь, хлопая в ладоши.

IV

Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответь — ты помнишь это?
И если помнишь — позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.

V

Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
ни весточки о милом человеке...
А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, —
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
И засмеюсь — ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VI

Суровый год. В траве чернеют щели,
но дни июня ветрено свежи.
Опять шумят разлапистые ели,
и чертят небо легкие стрижи.

Орлы сидят за ржавою решеткой,
полуприкрыв окаменелый взгляд.
Кричит павлин, барсук ютится кроткий
среди смешных мохнатых медвежат.

Иду с тобой по парку не спеша я,
над нами листьев солнечная дрожь..
Когда-нибудь ты вырастешь большая
и эти строки снова перечтешь.

Как взмах крыла, как искра в синем дыме,
они опять пересекут твой путь.
Они тебе покажутся простыми,
далекими, наивными чуть-чуть.

И все-таки ты радостно и мило
лукавый свой на миг потупишь взгляд, —

совсем как та, которая ходила
по воскресеньям с мамой в зоосад.

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны,
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, —
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.



ХИРУРГ

Н.Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких —
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное вглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом
в молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, —
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
сынком назвал, совсем не по уставу.

МАТЬ

Она совсем немного опоздала,
спеша с вокзала с пестрым узелком...
Еще в распахнутые окна зала
виднелось знамя с золотым древком,
еще на лестнице лежала хвоя,
и звук литавр, казалось, не погас...

Она прошла с дрожащей головою,
в глухом платке, надвинутом до глаз.
Она прошла походкою незрячей,
водя по стенам сморщенной рукой.
И было страшно, что она не плачет,
что взгляд такой горячий и сухой.

Еще при входе где-то, у калитки,
узнала, верно, обо всем она.
Ей отдали нехитрые пожитки
и славные сыновьи ордена.

Потом старуха поднялась в палату, —
мне до сих пор слышны ее шаги, —
и молчаливо раздала солдатам
домашние ржаные пироги.



МУЗЫКА

С утра в конторе щелкала на счетах,
в очках, платком замотана до глаз.
И было в ней от хмурой птицы что-то,
и что-то в ней отпугивало нас.

Мы очень мало знали друг о друге.
Откуда в лазарете эта тень?
Тревожной сводкой начинался день,
росли морозы, подступали вьюги.

Бывало, что усталость верх брала
и согреться становилось нечем.
Но я ведь не об этом начала,
я начала о женщине...

Тот вечер
был тише и угрюмее других.
Почти стемнело. В коридоре где-то
стеклянный звук разбился и затих.
И показался на мгновенье светом.

Рояль отвык. В углу закоченев,
он весь скрипел и охал от натуги,
но беспощадно старческие руки
будили в нем отчаянье и гнев.

И словно хрустнул, расколовшись, лед,
и мраку нет на свете больше места —
один порыв, один прямой полет,
все на пути сжигающее presto.

В очках, платком замотана до глаз,
как будто бы с охрипшей вьюгой споря,
она до ночи согревала нас
в продрогшем лазаретном коридоре.

...И, робко взяв пьянистку за плечо,
не отводя от белых клавиш взгляда,
старик казах проговорил: «Еще».
Потом подумал и прибавил: «Надо».



* * *

Я знаю — я клялась тогда,
что буду до конца верна,
как ни тянулись бы года,
как долго бы ни шла война.

Что все — с тобою пополам,
что ты один мне только люб,
что я другому не отдам
ни жарких слов, ни верных губ.

С повязкой влажной и тугой
в жару метался тот, другой.
И я, дежурная сестра,
над ним сидела до утра...

Он руку женскую к груди
тоскливо прижимал в бреду
и все просил: «Не уходи».
И я сказала: «Не уйду».

А после, на пороге дня,
губами холоднее льда,
спросил он: «Любишь ли меня?»
И я ему сказала: «Да».

Я поклялась тебе тогда, —
но я иначе не могла...
Обоим я сказала «да»
и никому не солгала.

САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмутив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любитесь малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».